

**ПЕТР
ВЯЗЕМСКИЙ**

ТАЛЬМА

Петр Андреевич Вяземский

Тальма

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24631305

Аннотация

«С некоторого времени смерть деятельно очищает вершины Французского общества и похищает с них имена, сиявшие с большим блеском. Сколько политических, воинственных, литературных переростков низвергнуто в короткое время её неумолимою косою! Подумаешь, что она, как Тарквиний, предпочтительно ссекает на жатве жизни колосья, переросшие прочих. После многих похищений со сцены мира, смерть поразила Францию новою утратою в лице Тальмы, который владычествовал нераздельно на сцене, имеющей также свой мир в уменьшительном виде. Не знаем, что скажут теперь Французы, но при жизни Тальмы они говаривали, что со смертью его не станет трагедии Французской, как со смертью актрисы Марс не станет комедии...»

Содержание

Петр Вяземский

Тальма

С некоторого времени смерть деятельно очищает вершины Французского общества и похищает с них имена, сиявшие с большим блеском. Сколько политических, воинственных, литературных переростков низвергнуто в короткое время её неумолимою косою! Подумаешь, что она, как Тарквиний, предпочтительно ссекает на жатве жизни колосья, переросшие прочих. После многих похищений со сцены мира, смерть поразила Францию новою утратою в лице Тальмы, который владычествовал нераздельно на сцене, имеющей также свой мир в уменьшительном виде. Не знаем, что скажут теперь Французы, но при жизни Тальмы они говорили, что со смертью его не станет трагедии Французской, как со смертью актрисы Марс не станет комедии. Может быть, не захотят они подтвердить признания, тягостного для самохвальства народного, когда одна уже половина печального предсказания сбылась. Как бы то ни было, но нет сомнения, что смерть Тальмы должна быть признана общею утратою для всех друзей искусств и усовершенствования способностей человеческих на каком поприще и у какого народа ни ознаменовалось-бы их явление. Таковы права дарования возвышенного! Если не признавать сего неотъемлемого свойства, которым действуют на общее мнение, в круге обра-

зованности, люди, возвысившиеся над сверстниками своими и собирают повсюду дани уважения бескорыстного, то как постигнуть, так сказать, заочную славу актера, вне границ действия своего или жизни? А между тем мы видим, что актер, который умел вознести искусство свое на степень, недоступную дарованиям, окружающих его, пользуется не только при жизни повсеместною знаменитостью, но и по смерти своей, когда уже никаких видимых следов бытия его не осталось, не теряет прав своих: слава его хранится ненарушимо в предании благодарном. Имена Росция, Гаррика, Левена, Клерон, Сиддонс, Иффланда нам так же знакомы, так же ласкают слабость человеческую мечтою о славе, о чем то возвышающем нас в собственных глазах, как имена и других людей отличных. Мы забываем, что искусство их преходящее не завещало нам по себе ничего положительного, а дорожим их памятью, как драгоценностью, потому что в признательном уважении нашем во всем успешным усилиям в совершенствовании человеческом, не разделяем сих усилий, зная, что они все действуют одно на другое и обогащают взаимно сумму наших умственных преимуществ.

Кажется, неоспоримо, не только для тех из наших соотечественников, которые вооруженною рукою два раза занимали места в партере Французского театра или, движимые мирным любопытством, ездили в Париж, но и для всех тех, кои не видали Тальмы, а только издали следовали за ним, как за одним из постоянных любимцев молвы Европейской,

приятно будет обозреть врут жизни и действий сего знаменитого актера.

Тальма родился в Париже 15-го Января 1760 года. При жизни его, биографы скрадывали у него несколько лет и назначали 1776-й годом его рождения. И так, не только сильные мира сего, но и владыки театральные имеют своих льстецов и для них также некрология не то, что биография.

Отец его был известный зубной врач и, кажется, сын его и сам упражнялся малое время в ремесле родительском.

Отец, отправившись на житье в Англию, оставил его во Франции в училище для первоначального воспитания. Десяти лет явил он первые необычайные приметы склонности, которая со временем должна была развиться в нем с такою силою. Начальник его пансиона сочинил трагедию: *Тамерлан* и молодому Тальме назначен был в представлении рассказ о смерти героя трагедии; отрок так вошел в свою роль, так сроднился с лицом, им представляемым, что, дошедши до трогательнейшего места в рассказе, не мог продолжать его, залился слезами, зарыдал и был почти без чувств вынесен со сцены. Как ни старались уверить его, что все происшествие один вымысел; но он был неутешен и время одно могло развлечь впечатление столь сильное. По окончании первоначального учения был он взят отцом своим в Лондон для усовершенствования в науках. Тут имел он снова случай играть комедии Французские, вместе с молодыми соотечественниками, жившими в Лондоне, и заслужил оригиналь-

ную игрою всеобщие похвалы, так что многие из знаменитых посетителей сего спектакля, между коими находился и принц Валлийский, ныне царствующий в Англии, стали уговаривать отца Тальмы, чтобы он склонил сына посвятить себя Английской сцене. Предложение сие тем было сбыточнее, что Тальма, проведший часть молодости своей в Англии, знал совершенно Английский язык и приобрел выговор народный.

Вероятно пребыванию в Англии и изучению Английского театра обязан Тальма тем переменам, которые он после с таким успехом совершил в слишком однообразной и принужденной декламации Французской; сие предположение подтверждается и словами г-жи Сталь, сказавшей, что в его декламировке видно было искусственное соображение Шекспира с Расином, Для счастья Французского театра предложение Английских вельмож не могло быть принято, и Тальма возвратился в Париж. Тогда еще решительнее предался он назначению своему и, посещавши несколько времени классы в королевском училище декламации, под руководством Моле и Дюгазона, явился он в первый раз на сцене театра Французского 27-го Ноября 1787 года, в роли Сеида. Успех его был блистательный. Он исхитил рукоплескания публики, и приговор её, не всегда безошибочный, был на этот раз задатком прочной славы и утвержден тогда-же литераторами и знатоками в драматическом искусстве: Лемьером, Палиссо и Дюсисом, которого подражания некоторым Шекспиро-

вым трагедиям приняли после лучший блеск свой от игры Тальмы и вместе с тем развили и дарование актера, более способное к выражению ролей мрачных, сильных и резких. Ободренный счастливым началом и более доверчивый к себе, он намерился упрочить свои первые успехи новым учением и, так сказать, перевоспитать себя. Он стал искать знакомства литераторов, живописцев, ваятелей и в пользу употребил частые беседы свои с ними. Смешно сказать, что на сцене, где владычествовал Вольтер, смелый гонитель предубеждений, где господствовали ученики и друзья его, Лекен и актриса Клерон, несообразности, анахронизмы в костюмах удержались до покушения Тальмы, который первый в трагедии *Брут*, а именно в роли Прокула, дерзнул, не смотря на насмешки товарищей и на страх оскорбить предания публички, раболепной к привычкам своим, показаться в настоящей Римской тоге. В другой раз, в роли самой ничтожной и где приходилось ему сказать не более десяти стихов, явился он в драпировке по древним образцам. Актриса, увидевшая его, вскрикнула со смехом: «Посмотрите, на что он похож! Точно древняя статуя». Сия похвала, сказанная в насмешку, показывает в ярком виде тогдашние понятия об искусстве. Вскоре после того вспыхнула Французская революция; от влияния её никто не мог избегнуть во Франции, а особливо-же из числа людей заметных, и Тальма был увлечен общим потоком. После первых представлений *Карла IX*, трагедии старшего Шенье, в которой Тальма играл роль ца-

ря, епископы просили короля, чтобы запретили эту пьесу по причине сильного действия, которое произвела она в народе. Король согласился на их просьбу, но Мирабо¹ сказал Тальме: «Заставлю моих Провансалов требовать представления пьесы и увидим, чья возьмет». Так и сделалось. Провансалы, к коим присоединилась и Парижская публика, выкричали трагедию Шенье, и она была вновь представлена. Тальма более всех из актеров содействовал сему торжеству мнения над властью, уже ослабевшею. Эта распря поселила раздор в обществе актеров, которое, по словам одного биографа, было, как и представительное собрание и самая нация, разделено на противоположные партии. Вскоре несогласия и ссоры усилились: актеры издали в свет обвинение против Тальмы; он отвечал им оправданием напечатанным. Вслед за этим диссиденты, управляемые им, Монвилем, Дюгазоном и г-жею Вестрис, основали в театре, построенном на улице Ришелье, вторую сцену Французскую, которая превосходством дарований, на ней блестящих, и славою своих переселенцев затмила совершенно первую, так что принудила ее после присоединиться к ней. В то время Тальма был в дружеской связи с Мирабо и сей последний жил в его доме. Сей дом существует и ныне. В нем и умер Мирабо, 2-го Апреля 1791 года. Между именами друзей Тальмы находим в той-же эпохе имена и других людей, ознаменовавших себя отличием дарований и силою дуга в сию замечатель-

¹ Мирабо был депутатом от Прованса.

ную и бедственную годину: Верньо, Годе, Кондорсета, Женсоне. Связь с ними была уже преступлением в глазах торжествующей партии, известной под именем Горы, и вскоре имя Тальмы подверглось обвинению на трибуне Якобинцов и в листах, порабощенных её кровожадной власти. В летописях революции хранится воспоминание о празднике, данном Тальмою в 1792-м году генералу Дюмурье, отправлявшемуся для завоевания Бельгии, и о том, как сей праздник нарушен был неожиданным появлением Марата, который, предводительствуя депутациею Якобинцов, пришел просить отчета у Дюмурье в том, что он осмелился, вопреки декрету, повелевавшему предавать смерти эмигрантов, спасти жизнь многим из них, попавших к нему в руки. Бедственная участь жертв, ежедневно поражаемых косою свирепого судилища, угрожала и Тальме; спасение его от эшафота можно почесть чудом невероятным. После счастливого переворота, последовавшего в делах Франция низвержением в 9-е число Термидора партии Робеспьера и его самого, новая гроза собиралась над головою Тальмы. Начали распускать слухи, что он был деятельным гонителем товарищей своих, находившихся почти всех в заточении, и что мнения его политические не совсем чисты. Клевета нашла слушателей легковерных и в публике возникла против него партия недоброжелательная. Однажды, во время представления трагедии, задрали его оскорбительными речами из партера: «Граждане!» отвечал он, выходя вперед, «все друзья мои погибли на эшафо-

те». Сей голос, вырвавшийся из души, произвел общий восторг, и Тальма восторжествовал над врагами своими. Наконец революция поступила в руки Наполеона; он сломил ее и овладел жребием Франции. С той эпохи начинается блестящая и невозмутимая эпоха славы великого актера. Около того времени соперники его на сцене трагической, или, правильнее, совместники, ибо соперников у него давно не было, Ларив, Монвель оставили сцену, и Тальма, игравший до того попеременно в трагедиях и комедиях, занял безраздельно место первых трагических ролей. Правитель и сограждане платили дань уважения его дарованию невероятному; иностранцы просвещенные, приезжавшие в Париж, сделавшийся снова сборным местом образованных путешественников, спешили поверять собственными глазами предания молвы, натвердившей имя, записанное у них в счете любопытнейших приманок, ожидавших их в столице образованности и вкуса. С этой эпохи до самой его смерти жизнь его была цепью непрерывных торжеств на сцене, ибо напрасно было-бы думать, что частые критики, прерывавшие иногда повсеместные похвалы, могли омрачить сияние его славы. Говорят однако же, что придирки известного журналиста Жофруа, которого ум природный и сведения часто были совершенно омрачены предубеждениями и пристрастием непростительным, вывели однажды из терпения трагика, отмстившего строгому аристарху отплатою физической. Тальма известен был Наполеону еще до похода в Египет и тогда уже

пользовался его уважением. По возвращении во Францию, во время консульства и царствования его на троне Франции, еще более ознаменовалось благоволение его к нему. По низвержении Наполеона, когда он принужден был заживо подвергнуться суду умерших Египетских царей и слышать о себе строгая истины история и нелепые сказки, которые также входят в её состав, досужные памфлетеры стали уверять, что Наполеон брал у Тальмы уроки, готовясь к представлению коронации и новой роли, которую он принимал, возлагая на себя корону императорскую. По неожиданном возвращении своем с острова Эльбы, на коем Наполеон следовал за всеми движениями Франции и читал все, что о нем печаталось, при свидании своем с Тальмою сказал он ему: «И так, говорят, что я ваш ученик. Впрочем, тем лучше; если Тальма был моим учителем, то это доказательство, что я хорошо разыграл свою роль». По достоверным источникам, видно напротив, что Тальма воспользовался во многом резкими и светлыми замечаниями Наполеона, которого ум всеобъемлющий и проницательный кидал орлиные взгляды на все, что обращало его внимание. Приведен тому несколько доказательств, сохраненных нам биографами Тальмы. В то время, когда Наполеон преобразовал Французскую республику в империю, Тальма почел обязанностью воздержаться от непринужденного обращения, которое он имел с ним, и перестал ходить во дворец. Наполеон вскоре заметил его отсутствие и велел ему сказать, что он всегда имеет вход во дворец в час завтра-

ка. В сии свидания возникали между ними продолжительные разговоры, в коих, по-видимому, Наполеон принимал живое участие. Одно из замечательнейших происходило в С.-Клу, на другой день представления трагедии *Британика*, в коей Тальма играл роль Нерона. Был большой съезд во дворце. принцы, министры, все государственные чины, послы иностранные ожидали Наполеона в тронной зале, а он рассуждал с Тальмою об искусстве трагическом и разбирал его вчерашнюю игру. «Я желал-бы видеть, – говорил он, – в вашей игре борьбу природы порочной с хорошим воспитанием; желал-бы также, чтобы вы сохраняли более спокойствия, делали менее движений; такие характеры не выказываются в наруже: они более сосредоточиваются в себе. Напрасно еще думаете вы, что король, император не может быть никогда запросто человеком. Но и вы в своем простом быту, вы сами по домашнему, в семье своей, не то, что при гостях и в людях. Когда Нерон один с своею матерью, он не может быть таким, каков он во втором акте. Прочтите Светония. Конечно, когда люди на степени видной, облеченные в звание возвышенное, предаются размышлениям важным или волнуются страстями, то должны и говорить они с большею силою, но все же речь их должна быть им свойственная и естественная». И тут-же, занятый всегда мыслью, которая господствовала во всех действиях жизни его, Наполеон вдруг обратился к себе: «Например, теперь мы изъясняем как в обыкновенном разговоре, а между тем работаем для истории. Будущий

мой историк скажет, что Наполеон, когда весь двор ожидал его появления, занят был беседою с скоморохом (histrion: сие слово употреблено Наполеоном и сохранено в рассказе Тальмы) и давал ему наставления, как выражать свою роль. Вот что скажут обо мне, если захотят меня изобразить в истинном виде, а не всегда с бархатною мантиею на плечах. Нерон с матерью уже не император: он сын, скучающий опекою и данными клятвами. Сам Расин как о тон напоминает:

«Néron cesse de же contraindre».

Актер понял своего критика, и с той поры в роле Нерона, особливо же в явлениях с матерью, выражался с какою-то свободою и чувством досады, которые, лишив игру его однообразной величественности, придали ей поразительную простоту. В другой раз, одна из сих бесед решила важную политическую меру, одарив Евреев во Франции гражданским бытием, В первых днях поля 1806 года представляли при дворе трагедию *Эсфирь*. На другой день Тальма, по обыкновению, явился к завтраку императорскому; тут был и Шампаньи, тогдашний министр внутренних дел. Разговор коснулся вчерашнего представления и народа Еврейского. «Что это за люди Евреи?» обратился император с вопросом к министру. «Какое их существование? Заготовьте мне записку о них». Записка была подана и около пятнадцати дней после сего разговора созвано было первое собрание именитых Ев-

реев, в предположении устроить жребий сего народа и дать ему во Франции законное существование. После представления трагедии *Смерть Помпея*, в коей Тальма играл Цезаря, Наполеон, разговаривая с ним о том, как понимает он эту роль, заключил суждение свое замечаниями прозорливости отменной и актер, каков был Тальма, глубоко проникнутый духом своего искусства, не мог не признать их справедливости и не воспользоваться ими. «Высказывая» – говорил Наполеон, – «свою длинную выходку против царей, в коей находится сей стих:

Pour moi qui tiens le trône égal à l'infamie,

Цезарь ни в одном слове не мыслит того, что говорит: он так изъясняется потому, что за ним стоят Римляне, коих выгодно ему уверить, что он ужасается престола; но он сам отнюдь не думает, что престол сей, сделавшийся целью всех его желаний, был бы предметом, достойным пренебрежения. Не должно заставлять его говорить как человека убежденного, и тайное противоречие должно быть рачительно выказано актером». Сии новые и глубокомысленные соображения были схвачены Тальмою в совершенстве и в первое представление той же трагедии, данное в Фонтенебло, он с такою удивительною истиною вник в понятия Наполеона, что сей был в восторге и сказал, что в первый раз видел Цезаря. Без сомнения и по самолюбию его, ревнующему со всем родам пре-

восходства и торжеств, было приятно ему видеть, что советы его служили вдохновением великому художнику. Впрочем Тальма слушался часто и своих собственных вдохновений и критического изучения лиц, которых воскрешал на сцене. До него, например, актеры произносили всегда с какою то самодовольною напыщенностью известный стих в роле Эдипа:

J'étais jeune et superbe.

Тальма почувствовал, что Эдип, отягченный летами и бедствиями, не мог вспоминать с гордостью и каким-то самохвальством свои молодые и блестящие года, и он эти слова произносил почти в полголоса и с унынием, как и быть должно. Когда Наполеон собирался в Эрфурт для свидания с Императором Александром, Тальма просил позволения ехать за двором; он получил на то позволение, и тогда-же велено было отправиться вместе с ним первым актерам сцены трагической. В день осмотра поля Иенской битвы, где приготовлен был великолепный воинский праздник, актеры играли Французскую трагедию в Веймаре, находящемся в ближайшем расстоянии от поля сражения, чем Эрфурт. По словам Наполеона, Тальма имел тут пред собою партер царей. Замечательно, что по назначению Французского Императора давали в сей вечер *Смерть Цезаря*. Роль Брута, пересозданная Тальмою в 1792 и 93-м годах и беспрестанно с того времени им изучаемая, есть одна из тех, в коих он сам себя превосхо-

дил. Он в ней обнаруживал такое глубокое познание древности, такое добросердечие, соединенное с стоицизмом непреклонным, такую простоту, совершенно до него неизвестную, что виден был в нем человек, сам возмужавший в раздорах междоусобных, долго и зрело размышлявший о их действии, и сей плод жизни и размышлений своих передавал он на сцене с истинною разительною и потрясающею.

На острове св. Елены Наполеон сказывал, что он когда-то хотел дать Тальме крест Почетного Легиона, но устранился общественного мнения. «В системе моей», – говорил он, – «сочетать все роды достоинства и утвердить одну награду всеобщую, я намерен был дать крест Почетного Легиона Тальме, но остановился перед своею нравов наших и решился сделать попытку маловажнейшую: я дал орден Железной Короны Кресцентини (Итальянский певец). Отличие было иностранное и он сам был иностранец: мне казалось, что мера не так будет заметна. Попытка моя была неудачна». В самом деле, сия милость, до того не виданная, возбудила страшный ропот в гостиных предместьях Сен-Жерменского и подверглась единогласному негодованию. Частые сношения Тальмы с Наполеоном должны были иметь влияние глубокое на актера, размышлявшего о своем искусстве: он имел перед глазами историческое лицо, мог учиться по нем тайнам сердца человеческого, игре страстей, драматическим действиям оных, столь разительно развивающимся там, где круг их обширнее и возвышеннее, одним словом, мог образовать себя

по живому образцу размера необыкновенного. Сие трагическое учение отзывалось особенно в игре в некоторых новых трагедиях, представленных уже по низвержении Наполеона и наведенных авторами живым колоритом Наполеонизма. В *Германике*, в *Силле* он возбуждал в партере воспоминание о современнике, заживо перешедшем в область истории и коего эпоха величия и опалы, равно поэтические и драматические, столь сильно должны были действовать на память, воображение и чувства народной массы, еще недавно одушевленной его могущественным присутствием.

На драматическом поприще Тальмы замечательно, что решительнейшее развитие его дарования и важные перемены, введенные им в свою игру и декламацию, по собственному признанию его, были следствием сильной нервической болезни, коей свойство и ход была так необыкновенны, что знаменитые врачи Корвизар и Алибер, пользовавшие его в то время следовали за нею, как за феноменом. В рассуждениях своих о Лекене, напечатанных при записках последнего, Тальма замечает тоже действие и в жизни сего великого актера и утверждает, что и он обязан был сильной болезни блеском, коим сияли последние годы его бытия театрального.

Не к стати следовать нам за Французскими критиками в суждениях об игре его в различных ролях. Ограничимся выпискою из сочинения г-жи Сталь (*О Германике*). «Мне кажется», – говорит она, – «что Тальма может быть пред ставлен в образец смелости и соразмерности, простоты и вели-

чественности. Он обладает всеми тайнами искусств различных; его аттитюды напоминают прекрасные статуи древности; одежда на нем, как бы без ведома его, драпируется во всех движениях его, как будто имел он время располагать ей на досуге в совершенном спокойствии. Выражение лица его всегда должно быть изучением всех живописцев. Иногда он является с глазами полуоткрытыми и вдруг чувство зажигает в них лучи света, которые, кажется, озаряют всю сцену».

«Звук голоса его потрясает, как только начнет он говорить и прежде чем смысл речей им произносимых успеет возбудить умиление. Когда в трагедиях встречались стихи описательные, он выражал красоты их, как будто сам Пиндар произносил свои песни. Иным нужно собраться с силами, чтобы растрогать, и хорошо они делают, что готовятся, но в голосе этого человека есть какое-то волшебство, которое с первых приемов пробуждает все сочувствие сердца. Прелесть музыки, живописи, поэзии, и, сверх всего, прелесть языка души, вот средства, которыми развивает он в слушателе все могущество страстей великодушных и ужасных».

«Какое познание человеческого сердца обнаруживает он в соображении своих ролей! Он их второй творец по выражению и физиономии.

«В *Андромaxe* Гермiona в исступлении обвиняет Ореста в убийстве Пирра без её согласия; Орест отвечает:

Quoi! ne m'avez vous pas

Vous même ici, tantôt, ordonné son trépas?

Говорять, что Лекен, когда говорил сии стихи, напирал на каждое слово, как будто с тем, чтобы напоминать Гермione о всех подробностях приказания, от неё полученного. Оно было бы кстати перед судиею; но когда предстоишь перед женщиною любимую, тогда отчаяние, что видишь ее несправедливою и жестокою, есть единственное чувство, душу наполняющее. Таким образом и Тальма постигал сие положение; вопль вырывается из сердца Ореста; он произносит первые слова с силою, а следующие с изнеможением, постепенно возрастающим: руки опускаются, лицо в одно мгновение покрывается бледностью смерти и сострадание зрителей увеличивается, по мере как он сам теряет силу выражать чувства свои.

«В творениях, извлеченных из истории Римской, Тальма ознаменовывает дарование совсем другого рода, но не менее замечательное. Увидев игру его в роли Нерона, лучше понимаешь Тацита; он в ней являет ум необыкновенно проныцательный, ибо содействием одного ума может душа честная постичь признаки преступления; мне кажется, однакоже, что он производит еще более действия в ролях, где, слушая его, любим предаваться чувствам, которые он выражает. Благодаря ему, лишился Баярд в трагедии Дю-Белоа замашек молодечества, которые прежние актеры почитали себя в обязанности придать ему: сей герой, Гасконец, по милости

Тальмы удержал в трагедии простоту, которую имеет он в истории. Одевание его в сей роли, рукодвижения непринужденные и умеренные напоминают о рыцарских статуях, видимых в древних церквах: удивляешься, как человек, столь глубоко проникнутый чувством искусства древнего, может также хорошо присвоивать себе и характер средних веков.

Тальма играет иногда роль Фарана в трагедии Дюсиса *Абюфар*, Аравийского содержания. Множество стихов восхитительных придают сей трагедии большую прелесть: краски Востока, задумчивое уныние полудня Азиатского, уныние тех стран, где жар не украшает, а сожигает природу, отзываются в сем творении с отменною живостью. Тот же Тальма, Грек, Римлянин и рыцарь, настоящий Аравитянин, житель пустыни, исполненный силы и любви; взоры его как будто подернуты, чтобы уберечься от зноя солнечного; в движениях его видна удивительная переходчивость из томления в стремительность: то он подавлен роком, то кажется могущественнее самой природы и побеждает ее; страсть к женщине, почитаемой им за сестру, пожирает его и таится у него в сердце: по неверным шагам его можно подумать, что он от себя бежать хочет; глава его отвращаются от той, которую он любит; руки отталкивают образ, которым он мысленно преследуем неотступно, и когда он наконец прижимает Салему к сердцу, говоря просто: мне холодно! он умеет выразить в одно время и дрожь души и сокрушительный зной, который хочет скрывать.

Можно найти много погрешностей в трагедиях Шекспира, принаровленных к нашему театру Дюсисом, но несправедливо было бы не признавать в них и красот первостепенных: гений Дюсиса заключается в сердце его, и тут он на своем месте. Тальма разыгрывает его творения с дружеским уважением к прекрасному таланту благородного старца. Сцена колдуний в *Макбете* преобразована в рассказ в трагедии Французской. Надобно видеть, как Тальма пытается передать зрителям смесь простонародности и сверхъестественности в выражении колдуний, сохраняя притом в сем подражании величавость, требуемую нашим театром.

Par des mots inconnus, ces êtres monstrueux
S'appelaient tour à tour, s'applaudissaient entréux.
S'approchaient, me montraient avec un ris farouche,
Leur doigt mistérieux se posait sur leur bouche,
Je leur parle, et dans l'ombre ils échappent soudain
L'une avec un poignard, l'autre un sceptre à la main.
L'autre d'un long serpent serrait le corps livide,
Tous trois vers ce palais ont pris un vol rapide,
Et tous trois, dans les airs, en fuyant loin de moi
M'ont laissé pour adieu ces mots: Tu seras roi.

Голос пониженный и таинственный актера при произношении сих стихов, палец приложенный в губам, как у статуи молчания, взгляд, изменяющийся для выражения воспоминания ужасного и отвратительного: все соображено было,

чтобы перевести новую на театре нашем стихию чудесности, о которой никакое предыдущее предание не давало понятия.

В трагедии чужестранного театра торжество его Гамлет. На Французской сцене зрители не видят тени Гамлетова отца: видение совершается в одной физиономии Тальмы и без сомнения оно тем не менее ужасно. Когда, посреди разговора спокойного и грустного, он вдруг усматривает тень, то не возможно не следовать за всеми её движениями по глазам, в ней обращенным, не возможно сомневаться о присутствии привидения, когда подобный взор вам о том свидетельствует.

Когда в третьем акте Гамлет приходит один на сцену и рассказывает в прекрасных Французских стихах известный монолог: To be or not to be:

La mort c'est le sommeil, c'est un réveil peut-être,
Peut-être.— Ah! c'est le mot qui glace, épouvanté,
L'homme, an bord du cercueil, par le-doute arrêté,
Devant ce vaste abime, il se jette en arrière,
Ressaisit l'existence et s'attache à la terre,

— Тальма не делал ни одного рукодвижения, иногда только потрясал он головою, чтобы допрашивать землю и небо о том, что есть смерть. Он был более неподвижен; глубокость размышления поглощала все его существо. Виден был человек, посреди двух тысяч людей безмолвных, вопрошающий мысль о судьбе смертных! Через несколько лет все, что тут

было, существовать не будет, но другие люди предстанут в свою очередь с теми же недоумениями и также опускаться будут в пропасть, не ведая её глубины. Когда Гамлет заставляет клясться свою мать над сосудом, хранящим прах её супруга, что она не участвовала в убийстве, пресекавшем жизнь его, она мнетя, смущается и наконец признается в преступлении, совершенном ею; тогда Гамлет обнажает кинжал, чтобы по повелению родителя вонзить его в грудь матери; но в самую минуту, как готовится он нанести удар, нежность и жалость преодолевают и, обращаясь к тени отца, взывает он: «grâce, grâce, mon père!» с выражением, в котором, кажется, сосредоточились все чувства природы, все впечатления сердца, и, кидаясь к ногам матери изнемогающей, он сказывает ей два стиха, заключающие в себе жалость неистощимую:

Votre crime est horrible, exécration, odieux;
Mais il n'est pas plus grand que la bonté des dieux.

«Наконец нельзя думать о Тальме, не вспомня *Манлия*. Сия трагедия производила мало действия на театре: содержание её то же, что *Избавление Венеции*, трагедия Отвая, перенесенное в событие Римской истории. Манлий составляет заговор против Римского сената и поверяет тайну свою Сервилию, с которым он дружен уже пятнадцать лет: он верит в него вопреки подозрениям друзей своих, не полагающих-

ся на малодушного Сервилия, привязанного к жене своей, дочери консула. Боязнь заговорщиков вскоре оправдывается. Сервилий не может утаить от жены опасность, угрожающую её родителю, которому она открывает оную. Манлий взят под стражу, умышления его дознаются и сенат приговаривает его к низвержению со скалы Тарпейской.

«До Тальмы, в сем творении, слабо написанном, почти не замечали страсти в дружбе, питаемой Манлием к Сервилию. Когда записка заговорщика Рушила извещает, что тайна выдана и выдана Сервилием, Манлий приходит с сею запискою в руке; он приближается к другу преступному, уже терзаемому раскаянием, и, показывая ему строки уличительные, говорит: *Qu'en dis-tu?* Ссылаюсь на всех, слышавших сии слова из уст Тальмы: физиогномия и звук голоса могут ли в одно время выразить более впечатлений разнородных: исступление, смягчаемое внутренним чувством жалости, негодование, которое от дружбы становится и живее и слабее, как излить их, если не в выражении души, подающей весть душе без посредства слов. Манлий обнажает кинжал, чтобы поразить Сервилия; рукою своею ищет он сердца и страшится найти: воспоминание о многолетней дружбе к Сервилию воздымает как бы облако слез между мщением и другом.

«Мало говорено о пятом акте, а может быть Тальма в нем еще превосходнее, чем в четвертом. Сервилий на все отваживается, чтобы искупить свою вину и спасти Манлия: в глубине сердца решил он разделить участь друга, если тому

погибнуть должно. Скорбь Манлия услаждена сожалением Сервилия; однакоже он не смеет сказать ему, что прощает его предательство ужасное, но схватывает украдкою руку Сервилия и прижимает ее к сердцу; невольные движения его ищут друга виновного, которого он еще раз хочет обнять перед разлукою вечною. Ничто или почти ничто в трагедии не указывало на сие восхитительное свойство души чувствительной, которая еще помнит долгую привязанность, даже и тогда, когда предательство ее рушило. Роли Петра и Жафьера в Английском произведении выказывают сие положение с удивительным успехом. Тальма умел дать трагедии *Манлий* нравственную силу, ей недостающую, и ничто не приносит такой чести дарованию его, как истина, с которою он выражает то, что есть в дружбе непобедимого. Страсть может возненавидеть предмет любви своей; но там, где связь укреплена священными соотношениями души, там, кажется, и самое преступление не в силах ее уничтожить: там ждешь раскаяния, как после долгой разлуки ожидаешь возвращения».

Не смотря на сии и так уже длинные выписки из книги г-жи Сталь, не можем удержаться от удовольствия привести еще одно письмо знаменитой женщины к знаменитому актеру, письмо мало известное. Кроме того, что приятно заниматься извлечениями из сочинений автора, всегда исполненного мысли и чувства, но нам кажется, что и для многих читателей сии выписки могут показаться занимательными, тем более, что, по странному небрежению, большая часть из со-

чинений г-жи Сталь может иметь еще цену новости на языке нашем.

Письмо к Тальме

Июля 1809.

«Не бойтесь, чтобы я последовала г-же Милорд и возложили на вашу голову венок, в минуту наиболее патетическую; но вас могу сравнивать только с вами самими и потому скажу вам, Тальма, что вчера вы превзошли совершенство и самое воображение. Есть в этом произведении, не смотря на все его погрешности, обломок трагедии, которая сильнее нашей, и дарование ваше явилось мне в роли Гамлета, как гений Шекспира, но без его неровностей, без его повадок (*gestes familiers*), внезапно облагороженных до высшей степени благородства. Сия неизмеримость природы, сии запросы о жребии нашем общем, в виду сей толпы, которая умрет и казалось слушала вас, как вещателя рока; сие явление привидения ужаснейшего во взорах ваших, чем в самом грозном образе; сие глубокое уныние, сей голос, сии взгляды, поведающие чувства, сей характер выше всех размеров человеческих: все это восхитительно, три раза восхитительно, и сии впечатления, которым подобных искусство еще никогда во мне не рождало, независимы от дружбы моей к вам: я вас люблю в комнате, в ролях, где вы равны себе; но в сей роли Гамлета вы увлекаете мой восторг до того, что это уже

были не вы, что это была не я: это была поэзия взглядов, выражений, движений, до которой еще ни один писатель не достигнул. Прощайте, извините меня, что я пишу к вам, когда ожидаю вас сегодня утром в час, а вечером в восемь; но если приличия общественные не должны были бы все умерять и задерживать, то не знаю, не бросилась-ли бы я вчера с гордостью к вам, чтобы поднести венок, который принадлежит вашему таланту более чем всякому иному: вы тут уже не актер, вы человек, возвышающий природу человеческую, давая нам новое понятие. Прощайте до часа. Не отвечайте мне, но любите меня за мое восхищение».

Тальма был женат и жена его также являлась на сцене с успехом. Из сведений, собранных нами выше, можно убедиться, что он был человек умный, сведущий и благородного характера. Один талант, как он ни будь велик, и особливо же талант сценический, не достаточен, чтобы привлечь личное уважение и приязнь людей отличных, а мы видели, что Тальма имел друзей, коими гордиться можно. В домашней жизни и в общежитии он был так же привлекателен, как был восхитителен на сцене. Вот что говорит о знакомстве своем с ним леди Морган, в сочинении о Франции, а сей свидетель, как Английской нации, не подозрителен в излишнем потворстве. «Величавость и сила трагические Тальмы на сцене образуют противоположность, равно разительную и приятную, с простотою, радушием, веселостью его обхождения в обществе. Никогда не встречавшись с Кориоланом в гостиной и

видевши его только на форуме, я думала, что найду в сем актере, в быту домашнем, торжественность и напыщенность, присвоенные его званию, прием холодный, речь мерную; одним словом, думала найти актера; но, напротив, я заметила в простых обычаях и непринужденном обращении сего знаменитого человека одни признаки хорошего воспитания и совершенного умения жить».

Многие из наших соотечественников также знали его лично и успели оценить в нем прекрасные качества актера и человека, а один из них, В. Л. Пушкин, был с ним в дружеской связи, во время пребывания своего в Париже, о коем может сказать он с отрадным воспоминанием:

Не улицы одни, не площади и дома,
Делиль, Сен-Пьер, Тальма мне были там знакомы.

В часы досуга актер давал Русскому поэту уроки в декламации Французской и перечитывал с ним некоторые из своих ролей. Многим, может быть, еще памятно, как в обществе приятелей и приятельниц, Василий Львович любил декламировать, между прочим, рассказ Макбета, выше упоминаемый. Сообщаем читателям остроумную записку Тальмы к нему:

Je n'ai, point de crime à commettre samedi. Ma conscience est à l'aise ce jour là. Je n'ai affaire ni aux Euménides, ni aux Furies; elles ont bien voulu m'accorder cet intervalle de repos pour aller offrir mon hommage à

Madame la Princesse Dolgorouki. A samedi donc, tout à vous

*Talma*²

Не станем входить в подробное описание обстоятельств, последовавших за болезнью и кончиною Тальмы, умершего в Париже 19-го октября 1826 года. Они слишком еще свежи в памяти читателей газетных. Если получим полные жизнеописания его, вышедшие во Франции уже по его смерти, то можно будет извлечь из них дополнение к сей статье, писанной, так сказать, за глаза, под руководством сведений разбросанных по разным биографическим словарям и театральным альманахам. Может быть, придется и поправить некоторые погрешности, в которые могли вовлечь невольно различные указатели. Замечательно, что погребение Тальмы совершилось без шума и без народного волнения. Известно, что Французские актеры отлучены от церкви и что смертные останки их не могут быть отпеваемы в храме Божиим, если актеры при жизни не отреклись от звания своего. Нам, северным варварам, по выражению некоторых соевропейцев, кажется невероятным сей обычай просвещенного Запада. Всего в этом деле забавнее, или прискорбнее, судя по точке, с которой смотришь, есть исключение из сего постановления, – кого-же? оперных актеров и оперных танцовщиц,

² Не совершаю никакого преступления в субботу. В этот день моя совесть на просторе. Не буду иметь дела ни до Эвменид, ни до Фурий; им угодно было дать мне сей отдых, чтобы я мог засвидетельствовать мое почтение княгине Долгоруковой. И так до субботы, весь ваш Тальма.

потому что Французская опера, то есть, театр, на коем даются большие оперы и балеты, именуется королевскою академиею музыки, и таким образом академические фигурантки, или плясовые академики, вакханки, баядерки, нимфы пользуются, под академическою фирмою, правом, от коего отрешены трагические Эсфири, Аталии, Меропы. Разумеется, что не все во Франции признают красоту сего чудного установления, и потому погребение актера в Париже нередко бывает поводом к явлениям существенно-трагическим. Памятно, как в день погребения актера Филиппа, народ бросился в дворец и просил Карла X, не задолго перед тем вступившего на престол, разрешить вынос гроба в церковь. Король выслушал депутацию благосклонно, но не принял на себя разрешения дела, не подлежащего его ведению. Тальма, желая избегнуть невольного действия в драме по смерти, назначил в духовном завещании своем, чтобы прямо понесли тело его на кладбище. Так и было сделано. Обряд погребения его совершился спокойнее, но не менее величественно и умирительно. Люди, отличные по дарованиям и по знанию своему, литераторы, ученые, художники, государственные сановники, многочисленная толпа народа следовали в глубокой, тихой горести за гробом любимца своего, который некогда с такою силою волновал их души впечатлениями возвышенными, поражал изящным ужасом, уклевал могуществом вдохновения, и был для них избранным посредником между миром идеальным и миром положительным, между истори-

ею и поэзиею. Товарищи его и литераторы в речах надгробных заплатили дань признательности общественной человеку и согражданину, Тотчас открылась подписка на сооружение памятника незабвенному в летописях драматических, и значительные суммы от разных лиц, от разных званий, из разных мест сливаются для выражения одного чувства, одного высокого помышления: увековечить знамение благодарности современной Жизнь, дарования Тальмы были достоянием народным; смерть его почитается народною печалью. Должно отдать справедливость Французам: они хорошо понимают просвещенный патриотизм, и сие чувство горести народной, если хотят народного самохвальства, должно быть чувством живительным и производительным. Как не предпочесть его мудрому бесстрастию, стоической неподвижности, которые молча совершают свое поприще и не озаряют ни одним восторгом, и не оглашают ни одним сердечным словом гробовое молчание населенной пустыня.

Статья наша, вероятно, покажется иным читателям непомерно и не кстати длинною. Оно, может быть, и так. Но у нас вообще так мало дельного говорится о драматическом искусстве, о театре и о сценических представителях его; наш театр со всеми принадлежностями стоит так одиноко, обращает на себя такое маловажное и второстепенное внимание, что мы воспользовались случаем и не прямо до нас относящимся, чтобы выставить театральные вопросы в надлежащем их виде. Русские актеры, или готовящиеся в этому

званию, могут извлечь полезные сведения и поощрения из очерка, набросанного нами. Они увидят из примера, данного Тальмою, какими пригготовительными началами, каким долготерпением в изучении искусства, какими усилиями образуются великие сценические художники. Хорошие-ли драматические писатели пробуждают хороших актеров, или, на оборот, хорошие-ли актеры содействуют развитию драматического искусства в данную эпоху, – вопрос еще не совершенно решенный. Вероятно те и другие служат себе взаимно вспомогательными средствами. Но нет сомнения, что там, где мало творчества в драматических, не скажу, созданиях, а разве изданиях, там и сценическому искусству негде почерпать вдохновения свои, негде образовать себя. Заметим, что актеру, для достижения полного успеха, предстоит затруднения, которые легко может избежать автор. Автор избирает предмет свой, событие, эпоху, лице, которое он желает воспроизвести. Скажем просто, он садится за работу, за свой письменный стол, когда ему хочется, когда чувствует он в себе свежую, пробежавшую струю вдохновения. Актер, так сказать, невольник искусства своего, которое многими окраинами нисходит до ремесла. Он часовой и должен простоять столько-то часов на определенном ему месте, а между тем актер, и особенно в высшей драме, должен изучить историю, физиогномию предстоящей ему эпохи, нравы общества во всех видах его и в разные времена, он должен быть живописец, археолог, моралист, сердцеведец, проникать в глубокия

тайны природы человеческой, сердца человеческого, многое сам почувствовать, иное угадать, перевести часто на всем понятный и живой язык темные намеки, недомолвки автора. Он должен зрителям и слушателям передавать, так сказать, в природе все то, что он приобрел искусством и переработал в себе. Способы, гении авторов различны, а актер должен один усвоить себе гениальные природы Расина, Корнеля, Вольтера. Имя актера легион. Конечно, ему нужны врожденные способности, дарования, вдохновение; но нужна и наука разносторонняя, почти всеобъемлющая, но вместе с тем и частная, так сказать, мелочная. Тальма часто и понимал роли свои иначе, чем знаменитые предшественники его, но обращал прилежное и соvestливое внимание и на одежду свою: он иначе одевался, чем они, иначе ходил, стоял, сидел.

При этих соображениях, осмелимся думать, что и наша статья может принести свою относительную пользу.